

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ издание «Анны Карениной» вышло 110 лет тому назад. Автор отметил в том году свое 50-летие. А вот уже минуло и 160-летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого.

Юбилейные, специальные статьи и речи становятся событием в жизни современников и остаются навсегда в истории, если один гений говорит с любовью о другом. Например, Ф.М.Достоевский о Пушкине в дни открытия памятника поэту в Москве в 1880 году. Или В.И.Ленин о Толстом в дни его 80-летия, а через два года — смерти писателя. Они находят единственные, смелые, пророческие слова.

Благодарный удел всех остальных почитателей великого художника — чтение его произведений. Неоднократное, всякий раз неповторимое и благое. Казалось бы, уже знакома, испытана радость от точных словечек в речи некоторых персонажей. Но прочтешь, и она приходит снова. От того, как нянюшка Матрена Филимоновна словечком «навынтараты» скажет о ссоре в доме Облонских. Как старый князь Щербачкий отзывается о московских молодых людях: «тютюки». Или сам автор длинным-длинным словом «тюлево-ленто-кружевно-цветная» определит толпу дам на балу.

Какие-то слова и выражения, уже запомнившиеся когда-то, вдруг поражают как бы заново. Например, описание того, как Каренин идет объясняться с женой, «неся полную чашу гнева и боясь расплескать ее». Слово и впрямь движется по «мосту» своих рассуждений и заключений о «пучине» действительности, а «пучина эта была, — скажет Толстой, — сама жизнь, мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович».

НОВОЕ ЧТЕНИЕ заставляет порой отказываться от привычного впечатления. Так, едва речь заходит о психологическом мастерстве Толстого, вспоминают встречу Анны с мужем после московской поездки и знакомства с Вронским. То, как теперь поразили ее в знакомом облике «хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы». Между тем в описании внешности крупного петербургского чиновника, пекущегося о государственном благе, есть деталь чрезвычайной важности. Толстой дважды скажет, что у Каренина «усталые глаза», «усталый взгляд». Вскоре опять заметит, что он «усталыми глазами взглянул на Вронского». И так будет не раз: «с выражением усталости», «с обычным видом усталости и достоинства», «с усталой улыбкой» и т.д. Почему Толстой так упорно подчеркивает именно эту особенность во внешности и в состоянии Каренина? Конечно, устанешь, коли подписывать, как Каренин, 118 бумаг в одно утро. Но речь, наверно, идет о другой усталости. Этот человек в сущности давно истощен, духовно и душевно изнурен своей искусственной, бесплодной жизнью, отданной карьере, высокому чину. Чувств животворных, любовных он не испытал. Поэтому однажды к этому слову добавится еще одно: «усталость и мертвенность». На человека непритворного, душевного эта безжизненность действует угнетающе. Недаром и Анна становится около мужа сразу иной: «лицо ее, казалось, устало, и не было на нем той игры просившегося то в улыбку, то в глаза оживления...»

ВО ВНЕШНЕМ облике Вронского автор не раз отметит почему-то «сплошные зубы», а в его самочувствии подчеркнет неоднократно спокойствие. При этом укажет на постоянство сдержанности Вронского: «спокойным, как всегда, сном», «не-

поколебимого спокойствия», «твердым и спокойным тоном». Даже ласковое выражение у него «спокойно и твердо». Что это? Выдержка воспитанного человека? Равнодушие светского тона? Душевная бесстрастность? Каждому читателю решать самому. Но нельзя не заметить авторского чувства. Оно вызывает к нам. Оно предполагает в нас напряжение ума и сердца (одно из любимых слов Толстого: «напряжение счастья», «напряжение мысли», «необыкновенное напряжение самопожертвования в труде»). В нем надежда, что каждое слово будет нами прочитано, а не просмотрено.

Тогда со школьных лет мы не только запомним, к сожалению, хрестоматийные «лучистые» глаза княжны Марьи, но полюбим само чтение толстовских произведений и эту способность автора несколькими словами, одной деталью воспроизводить, передавать целое.

Уж какая малость — упоминание о руках персонажа. Но как значимо на самом деле. Притворная Бетси Тверская прощается с Вронским, подавая «палец, свободный от держания веера». У злоязычной графини Нордстон «крошечная желтая рука». У Стивы Облонского — холеная рука с «пухлыми пальцами». Лощеный Гриневич поразил Левина руками «с белыми тонкими пальцами, с... длинными желтыми, загигавшимися в конце ногтями...» Впервые упоминая Долли, Толстой обратит внимание на ее «исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев». Еще читателю неизвестно, что Стива промотал состояние, еще впереди рассказ о заштопаных кофточках Долли, однако мелькнула тень грядущего полного разорения. Но об этой же самой руке любящей матери — на голове провинившейся, прощенной, плачущей маленькой дочери — Толстой скажет: «худая нежная рука».

И ВСЕ-ТАКИ мало заметить слово в тексте толстовского романа. Задуматься, что они значат для автора, почему он их выбрал, — вот что, наверно, важно. Например, в Анне Карениной с той минуты, как она полюбила Вронского, Толстой все время отмечает оживление. Она ожила и оживила Вронского, «возбуждая и наполняя счастьем его душу». Как точно выбрано, угадано это слово! Какой в нем верный оттенок, передающий трагедию любовного чувства Анны. Не новая жизнь, а оживление, которое потом сменится возбуждением и раздражением. Теперь эти слова не зря повторяются Толстым и воплощают внутреннюю лихорадку героини, болезнь мятущейся души, ждавшей и жаждавшей жизни, а не временного оживления. Именно Жизни.

Это слово совершенно особое в толстовском романе. «Огонь жизни», «достоинство жизни», «интерес жизни», «связи жизни», «разлука с жизнью», «радо-сти жизни», «возвращение к жизни» и т.п. Многие определяются этим словом. Так, для Каренина принять решение о возможном разводе с женой значило перевести «это дело жизни в дело бумажное». Анна в послед-

И сегодня «стыдно быть»...

Книжное обозрение. 1993. 10 сент. — с. 23.

«ЧТО ЖЕ Я ТАКОЕ? И ГДЕ Я? И ЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬ?»

(Л.Н.Толстой «Анна Каренина»)

ние часы своей судьбы думает о себе и о Вронском: «Мы жизнью расходимся...» О Левине автор говорит, что он смотрит на все и думает обо всем «из жизни». То есть с точки зрения жизни, которой так страшился Каренин и многие другие герои романа.

«Из жизни» — это так, «как нельзя бросить ребенка, которого держишь уже на руках». Это так, «как плуг, так, что уже и не мог выбраться, не отворотив борозды». Это так, когда не обманут, не обольстят «карточные дома», время от времени сооружаемые теоретиками жизни все из тех же старых, только «переставленных слов».

Но что было компасом для Левина? Какими словами названы чувства, удерживающие или возвращающие на верный путь? В романе есть такие сло-



ва, такие чувства. Наверно, во все времена, а уж в какие-то особенно. Важные для читателя толстовского романа. В такие годы роман готов поддержать своего читателя. Но он готов ли, способен ли услышать слово писателя?

ЗАМАЛЧИВАНИЕ гениального произведения — это трагедия эпохи. Молчание гениального произведения, несостоявшаяся встреча его с новым поколением читателей — это драма эпохи. Незримая, негромкая, мало кому заметная. Не гений молчит. Мы его не слышим. Не хотим, не можем, не печалимся.

Печаль — тоже удел благодарного читателя, итог внимательного чтения. Путь к главным словам великих писателей нелегок, и если читать всерьез, то безрадостен. Это испытание. На страницах «Анны Карениной» такими чувствами, как стыд и совесть. Жизнь этих слов в романе — особый и долгий разговор, который каждый читатель, коли согласится на него, ведет по-своему. Не исключено, что для многих он начинается с вопроса. Может быть, такого.

Почему Толстой в рассказе о Долли в доме Вронских говорит, что ей было «неловко» пред горничной-франтихой за свою заштопанную кофточку? Стиве Облонскому «неловко» в приемной Болгарина, к которому он пришел просить «доходное место»? Почему автор не употребил слово «совестно» или «стыдно», но именно «неловко»? Нет, это не стилистическая небрежность, а настоящий такт художника, чуткость к самым тончайшим оттенкам слова. Ничего предосудительного, унижительного, а тем бо-

лее позорного в этих ситуациях нет для Долли и Стивы. Им досадно, немного неприятно, чуть-чуть обидно, как от фальшивой случайно ноты в знакомой выученной музыкальной песне.

Между тем как стыд, угрызения совести — это самоосуждение, раскаяние в дурном поступке, никому не зримое, но самим совестливым человеком ощущаемое отступление от нравственного. Стыд жжет, недаром от него сгорают. Стыд тяжел, гнет голову, лишь людской стыд смех, а свой смерть. Но в таком случае как понять чувство Вронского в финале романа, уже после смерти Анны? Он смотрит на рельсы и испытывает «общую мучительную внутреннюю неловкость». Мучительную, всеобъемлющую, но неловкость. Это слово останавливает и возвращает к началу, к вопросу, а от чего Вронский испытывал чувство стыда?

Однажды пошутит в гостиной Тверской о французском театре: «Я знаю, что это стыдно; но в опере я сплю, а в Буффх досаживаю до последнего конца, и весело». Один раз нешуточно вздумает застрелиться, «чтобы не было стыдно», и этим поступком смыть с себя «стыд и унижение». Ему больно от воспоминаний, как смешон, глуп, «как ему казалось», он был возле умирающей Анны: «Он чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и лишенным возможности смыть свое унижение. Он чувствовал себя выбитым из той колеи, по которой он так гордо и легко шел до сих пор... Ужаснее же всего было то смешное, постыдное положение его, когда Алексей Александрович отдирает ему руки от его пристыженного лица». Как точно эти слова «постыдное», «пристыженное» передают боль чрезвычайной самолюбивого, самоуверенного человека. Слово «совестно» ни разу не встретилось в этом рассказе о переживаниях Вронского.

Но разве стыд, раскаяние чужды самолюбивым людям, тущим превыше всего внешние правила и приличия? О Каренине Толстой заметит, что «спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича». А ведь его жгли однажды стыдом и раскаянием воспоминания. Все дело в том, какие воспоминания. О тех самых минутах около умирающей Анны, о заботах об новорожденной ее дочери. Когда он впервые, быть может, в жизни был великодушен, человечен, отступил от «холодной самоуверенности». И теперь стыдится этого, как слабости, как унижения и оскорбления. Конечно, это не голос совести, но то же чувство себя, выбитости из привычной колеи, как и у Вронского. В более своей жизни он устает от сложнейших умственных построений относительного государственного блага, а не от труда души. Эта колея карьеры, все более высоких чинов и наград, определяет его путь, но не совесть, этот, по мысли Толстого, компас нравственной жизни.

В эту колею он, быть может, направит и сына, который пока в силу возраста считает «стыдными» мысли о матери, «свойственными только девочкам». Но

тут же Толстой замечает, что эти воспоминания он гонит от себя и по неосознанному расчету, «чтобы не осуждать того отца, с которым он жил и от которого зависел».

КАК МУЧИТЕЛЬНА, как неестественна, как страшна эта подмена в юном человеке искренности невольным расчетом, памяти спокойным беспамятством! Давно уже ушел Стива, спросивший племянника, помнит ли он мать, а мальчик все стоял на лестнице и не то плакал, не то злился. А потом говорит: «— Оставьте меня! Помню, не помню... Какое ему дело? Зачем мне помнить? Оставьте меня в покое! — обратился он уже не к гувернеру, а ко всему свету». Вот когда, наверно, больно и стыдно читателю Толстого за всех, по чьей вине этот мальчик ничего не хочет помнить и просит покоя. В таком состоянии потом не испытывают мук совести от дурных поступков, чувства стыда за ложь, лицемерие, неправду. Ровная душа, спокойная душа, мертвая душа. И все-таки эта злость, похожая на плач, оставляет надежду, что под пеплом отторгнутых чувств теплится в душе Сережи Каренина живое воспоминание, живое начало. То самое, которое сохранилось в душе Анны Карениной и вырвалось из-под спуда любовью к Вронскому.

С этой минуты в описаниях ее чувств, ее мыслей слова «постыдное», «стыдное» постепенно, незаметно сменяются словом «стыдно». Ей стыдно лгать. Она испытывает «мучительную боль стыда». «Горячая краска стыда» часто заливает ее лицо, а на глаза выступают «слезы стыда».

Вронскому стыдно выглядит смешным в глазах света. Каренину стыдно своей минутной искренности. Анне стыдно нового обмана в новой жизни, «злого духа борьбы» в сердце; пламени, не освещавшего, а сжигавшего ее жизнь. Одиноко и безысходно кружась в плену одних и тех же бесплодных мыслей и ощущений, она неотвратно приближалась к центру этого круга: мысли о смерти: «Все неправда, все ложь, все обман, все зло!».

Преодолеть эту мертвую точку она не смогла. Но автор преодолевает ее и сплетает в финале все нити романа в вопрос, который Левин задает себе: «Что же я такое? и где я? и зачем я здесь?» Долго, мучительно, порой страшно рождался он в душе толстовского героя. И путь к нему, поиски ответа на него — это страдания от стыда, эти муки совести. Неотделимые от недовольства собою, от болезненного ощущения даже малейшей фальши, от постоянного пристрастного суда над собою. Стыдно быть несвободным в мыслях и поступках. Состыдно быть счастливым среди несчастных. Стыдно не замечать несправедливости, чужих обид и страданий. Состыдно искать покоя, заглушая душевную боль. Стыдно сознательно обольщаться иллюзиями и неправдой.

Однажды в этих муках встречаются главные слова и соединяются в мыслях Левина: жизнь по совести, жизнь по правде, жизнь по душе. Они вошли страданиями и не принесли облегчения, лучезарного настроения и безоблачной жизни.

В наступающей ночи, при свете молний, скрывающих звезды на небе, при отзвуках дальнего грома, одинокий, не очень счастливый, ожидающий новых страданий, Левин думает о том, что такая жизнь не бессмысленна в отличие от прежней и имеет «несомненный смысл добра», который он властен вложить в нее.

Это последняя строка романа.

А.КУЗИЧЕВА.

10.09.93.2